

# Описывать и предписывать. Об условиях возможности и границах политической действенности

1981

Собственно политическое действие возможно, поскольку у агентов, включённых в социальный мир, есть знание (более или менее адекватное) об этом мире и поскольку можно воздействовать на социальный мир, воздействуя на их знание об этом мире. Это действие призвано произвести и навязать представления (ментальные, словесные, графические или театральные) о социальном мире, которые были бы способны воздействовать на этот мир, воздействуя на представление о нём у агентов. Или, если быть более точным, сформировать и переоформить группы — и одновременно коллективные действия, которые те могут предпринять, чтобы изменить социальный мир в соответствии со своими интересами — произведя, воспроизведя или разрушив представления, которые делают эти группы видимыми для них самих и для других и которые могут принимать форму устойчивых институтов представительства и мобилизации.

Будучи объектом познания для самих агентов, социальный и экономический мир осуществляет воздействие, которое имеет форму не механической детерминации, но эффекта познания. Ясно, что, по крайней мере, в случае подвластных этот эффект не располагает к политическому действию. Известно, что социальный порядок отчасти обязан своей устойчивостью тому, что навязывает схемы классификации, которые, будучи подстроены под объективные деления, производят такую форму признания этого порядка, которая строится на непризнании произвола его оснований. Соответствие между объективными делениями и схемами классификации, между объективными и ментальными структурами — основа своеобразного исходного членства в заведённом [etabli] порядке. Политика в собственном смысле начинается с расторжения этого молчаливого договора о членстве в заведённом порядке, который определяет исходную доксу. Иначе говоря, политический бунт предполагает бунт когнитивный, переворот в видении мира.

Однако еретический разрыв с заведённым порядком, с диспозициями и представлениями, порождаемыми им у агентов, которые сформированы в соответствии с его структурами, сам предполагает соединение критического дискурса с объективным кризисом, что способно нарушить непосредственное согласие между структурами объективными и инкорпорированными (где вторые — продукт первых) и установить своего рода практическое *éroschè* [2], приостановить прежнее членство в заведённом порядке.

Еретический бунт пользуется возможностью изменить социальный мир, меняя представление об этом мире, которое вовлечено в [создание] его реальности. Вернее, он противопоставляет парадоксальное пред-видение, утопию, проект, программу обыденному видению, которое воспринимает социальный мир как естественный мир. Будучи перформативным высказыванием, политическое предвидение есть само по себе действие, направленное на осуществление того, о чём оно сообщает. Оно практически вовлечено в [создание] реальности того, о чём оно возвещает, тем что сообщает о нём, предвидит его и позволяет предвидеть, делает его приемлемым, а главное, вероятным, тем самым создавая коллективное представление и волю, способные его произвести.

Любая теория — о чём говорит само слово — есть программа восприятия; но это никогда не справедливо в той же мере, как в отношении теорий социального мира. Найдётся, наверное, немного случаев, когда структурирующая власть слов, их способность предписывать за видимостью описания или опровергать за видимостью утверждения, были бы столь неоспоримы. Количество «идейных дебатов» не так уж невероятно, как может показаться, если принять во внимание, в какой степени поддаётся изменению социальная реальность при изменении представления о ней у агентов. Можно видеть, насколько социальная реальность такой практики, как алкоголизм (впрочем, то же касается абортов, наркомании или эвтаназии) меняется в зависимости от того, воспринимают и осмысливают её как наследственный порок, моральное падение, культурную традицию или компенсаторное поведение. Такое слово, как «патернализм», разрушительно, поскольку заставляет относиться с подозрением ко всему, что заколдовывает отношения господства при помощи постоянного отрицания расчёта.

Как и иерархические отношения, выстраивающиеся по модели заколдованных отношений, идеальным местом которых является домашняя группа, все формы символического капитала: престиж, харизма, шарм, — а также отношения обмена, благодаря которым этот капитал накапливается: обмен услугами, дарами, вниманием, заботами, переживаниями, — крайне чувствительны к разрушительному действию разоблачающих и расколдовывающих слов. Но власть, заключённая в языке (религиозном или политическом) и схемах восприятия и мышления, его обеспечивающих, никогда не становится столь явственной, как в ситуации кризиса. Эти парадоксальные, не-обычайные [3] ситуации вызывают к жизни необычайный дискурс, способный вывести на уровень явно выраженных принципов, порождающих [квази]систематические ответы, практические принципы этоса и выразить всё то невероятное, невыразимое, что может заключаться в ситуации, порождённой кризисом.

Еретический дискурс должен не только склонять к отказу от членства в мире здравого смысла, публично проповедуя разрыв с обыденным порядком, он также должен произвести новый здравый смысл и со всей легитимностью, которую обеспечивает публичное

проявление и коллективное признание, выразить в нём прежде умалчиваемые или вытесняемые практики и опыт всей группы. На деле, поскольку любой язык [langage] [4], который заставляет прислушиваться к себе всю группу, есть язык уполномоченный [autorisé], наделённый авторитетом этой группы, он создаёт [autorise] то, что обозначает, в тот момент, когда выражает это, обретая свою легитимность в группе, над которой он отправляет свою власть [autorité] и в создании которой (как группы) участвует, предлагая ей общее выражение её опыта.

Действенность еретического дискурса заключается не в магии имманентной силы речи, такой как illocutionary force [5] Остина, или в личности её автора, такой как веберовская харизма — двух понятиях ширмах, заслоняющих вопрос о происхождении тех эффектов, которые они лишь описывают — но в диалектике между созидающим и уполномоченным [autorisant et autorisé] языком и диспозициями группы, которые его уполномочивают [l'autorise] и им себя обосновывают [s'en autorise] [6]. Этот диалектический процесс завершается в каждом из затронутых агентов и, прежде всего, в самом производителе еретического дискурса, в ходе и посредством работы выражения, необходимой, чтобы вывести внутреннее вовне, назвать неназванное, начать объективировать дословные и дорефлексивные диспозиции, а также невыразимый и ненаблюдаемый опыт в словах, которые естественным образом превращают их одновременно в общие [communes] и сообщаемые [communicables], то есть в разумные и социально одобряемые. Этот процесс может завершаться также в работе по драматизации, особенно заметной в образцовом пророчестве, которое единственное способно дискредитировать очевидность доксы, и в нарушении, необходимом, чтобы назвать неназываемое, отменить институционализированную или интериоризированную цензуру, препятствующую возврату вытесненного, прежде всего, у самого ересиарха.

Но именно в становлении групп яснее всего наблюдается действенность представлений, и в частности, слов, лозунгов, теорий, которые вовлечены в создание социального порядка, навязывая принципы деления [division] [7] и, более широко, символическую власть всякого политического театра, который делает реальными и официальными [определённые способы] видения мира и политические деления. Политическая работа представления (в словах или теориях, но также в демонстрациях, церемониях и любых других формах символизации делений или оппозиций) придаёт объективность публичного дискурса или образцовой практики тому способу видеть и обживать социальный мир, который прежде был низведён до состояния практических диспозиций или негласного и зачастую неупорядоченного опыта (недовольство, восстание и так далее). Помимо того, эта работа позволяет агентам обнаружить свою общность за разнообразием частных ситуаций — изолирующих, разделяющих, дробящих — и сконструировать свою социальную идентичность на основе таких черт или опыта, которые казались несопоставимыми до тех пор, пока не доставало значимого основания, необходимого для их воплощения в признаках принадлежности к одному классу.

Переход от состояния практической группы к официально оформленной [institué] группе (класс, нация и так далее) предполагает конструирование классифицирующего основания, которое способно произвести совокупность отличительных черт, свойственных всем членам этой группы, и одновременно аннулировать совокупность незначимых черт, которыми в

ином качестве обладают некоторые или все её члены (например, национальностью, возрастом или полом) и которые могли бы служить основой для альтернативных конструкций.

Таким образом, в самом основании конструкции класса (общественного, этнического, по половой принадлежности и так далее) обнаруживается борьба: нет такой группы, которая не являлась бы местом борьбы по навязыванию легитимного основания для конструирования групп, и нет такого распределения свойств — идёт ли речь о возрасте или поле, образовании или богатстве — которое не могло бы служить основой для собственно политических делений и борьбы. Конструирование подвластных групп на основе того или иного специфического различия неотделимо от деконструкции групп, учреждённых на основе общих свойств или качеств (люди, пожилые, французы, парижане, граждане, патриоты и так далее), которые при ином состоянии отношений символических сил определяли бы социальную, а порой даже юридическую идентичность данных агентов. При этом любая попытка официально оформить [instituer] новое деление должна считаться с сопротивлением тех, кто, занимая доминирующую позицию в таком образом разделённом пространстве, заинтересован в упрочении доксического отношения к социальному миру, приводящего к тому, что социально установленные деления принимаются в качестве естественных или символически отменяются через утверждение единства более высокого уровня (национальность, семья и так далее) [8]. Иначе говоря, общий интерес доминирующих — консенсус, основополагающее согласие о смысле социального мира (тем самым преобразуемого в естественный, доксический мир), фундаментом которого является согласие о принципах деления [division].

Преобразующей работе еретической критики противостоит работа сопротивляющейся ортодоксии. Общий интерес подвластных заключается в дискурсе и сознании — вплоть до научного знания — поскольку они могут сорганизоваться в отдельную группу, мобилизоваться и мобилизовать имеющуюся у них потенциальную силу лишь при условии постановки под вопрос категорий восприятия социального порядка, которые, будучи продуктом этого порядка, навязывают им послушание [9]. В противоположность им, доминирующие, не имея возможности восстановить молчание доксы, стараются при помощи сугубо реакционного дискурса создать замену всему тому, что угрожает самому существованию дискурса еретического. Не имея, что возразить социальному миру такому, каков он есть, они стремятся навязать всем — при помощи дискурса, всецело обязанного простоте и прозрачности здравого смысла — чувство очевидности и необходимости, предписанное им этим миром. Озабоченные невмешательством в их дела, доминирующие стремятся отменить политику при помощи деполитизированного политического дискурса, этого продукта работы по нейтрализации или, точнее, работы по опровержению, которая направлена на восстановление исходного состояния невинности доксы и которая, будучи нацелена на натурализацию социального порядка, постоянно заимствует язык [langage] природы [10]. Эта ностальгия по протодоксе со всей наивностью выражается в присутствии любой форме консерватизма культуре «доброго народа» (чаще всего воплощённого в крестьянине), где эвфемизмы ортодоксального дискурса («простые люди», «скромное происхождение» [classes modestes] и так далее) точно обозначают основное свойство — подчинение заведённому порядку [11].

Борьба, ставкой в которой является знание о социальном мире, была бы бесцельна, если каждый агент обнаруживал бы в себе самом основание для неопровержимого знания истины о своих условиях и своей позиции в социальном пространстве и если одни и те же агенты могли бы признавать себя в различных дискурсах и классификациях (по классу, этнической принадлежности, религии, полу и так далее) или же в противоположных оценках результатов [действия] одних и тех же классифицирующих оснований. И наоборот, эффекты этой борьбы были бы полностью непредсказуемы, если не существовало бы никаких ограничений для аллодоксии [12], ошибок восприятия и, прежде всего, выражения, и если бы естественная предрасположенность признавать себя в различных дискурсах и предлагаемых классификациях была бы одинаково вероятна для всех агентов — какой бы ни была их позиция (а значит, и их диспозиции) в социальном пространстве и каковы бы ни были структура этого пространства, формы распределения и природа делений, в соответствии с которыми оно в действительности упорядочено.

Эффект предвидения или теории (понимаемый как эффект навязывания принципов деления [division], производимый любым объяснением) возникает в пространстве неопределённости, в месте разрыва между молчаливо принимаемыми очевидностями этоса и публичными проявлениями логоса. Благодаря аллодоксии, которая возможна в силу дистанции между порядком практики и порядком дискурса, одни и те же диспозиции могут признаваться при сильно разнящихся и порой противоположных точках зрения. Это означает, что наука расположена производить эффект теории, однако в очень своеобразной форме: являя во внутренне согласованном и эмпирически обоснованном дискурсе, то, что прежде игнорировалось, то есть, в зависимости от случая, существовало неявно или вытеснялось, наука изменяет представление о социальном мире и, в то же время, социальный мир — по меньшей мере, настолько, насколько она делает возможными практики, соответствующие этому изменённому представлению.

Так, если верно, что можно проникнуть на желаемую глубину в историю первых проявлений классовой борьбы и даже первых более или менее разработанных выражений её «теории» (в логике «предшественников»), оказывается, что только после Маркса или даже после создания партий, способных навязать (в широком масштабе) видение социального мира, организованного в согласии с теорией классовой борьбы, можно со всей строгостью говорить о классах и классовой борьбе. С такой строгостью, что те, кто во имя торжества марксизма ищут классы и классовую борьбу в докапиталистических и домарксистских обществах, совершают очень типичную ошибку — ошибку, состоящую в объединении сциентистского реализма и экономизма, — которая всегда располагает марксистскую традицию к поискам классов в самой реальности социального мира, нередко сведённой к её экономическому измерению [13].

Парадоксальным образом, марксистская теория, произведшая беспрецедентный в истории эффект теории, вовсе не отводит места эффекту теории в своей теории истории и класса. Будучи реальностью и волей, класс (или классовая борьба) реален в той мере, в какой он является волей, а волей является в той мере, в какой он реален: политические практики и представления (и в частности, представления о делении на классы), какими их можно наблюдать и измерять на данный момент времени в обществе, подвергнутом сильному воздействию теории классовой борьбы, отчасти являются результатом эффекта теории;

учитывая, что этот эффект отчасти обязан своей символической действенностью тому, что теория классовой борьбы была объективно обоснована (в объективных и инкорпорированных признаках), и благодаря этому факту согласовывалась с диспозициями политического чувства. Категории, в соответствии с которыми группа себя осмысливает и представляет себе собственную реальность, вовлечены в [создание] реальности этой группы. Это означает, что всякая история рабочего движения и теории, посредством которых это движение сконструировало социальную реальность, присутствуют в реальности этого движения на данный момент времени. Именно в борьбе, где рождается история социального мира, конструируются категории восприятия социального мира — и в то же время, группы конструируются в соответствии с этими категориями [14].

Даже наиболее фактуальное научное описание всегда расположено функционировать как предписание, способное участвовать в своей собственной проверке через эффект теории, который благоприятствует осуществлению того, о чём она сообщает. Именно это делает внутренне неразрешимыми любые политические постулаты, которые, подобно утверждению или отрицанию существования классов, регионов или наций, обозначают взгляд на реальность различных представлений о реальности, или на их способность [pouvoir] создавать реальность. Наука, которая может соблазниться решением подобных споров, объективно измеряя степень реалистичности заявленных позиций, в лучшем случае способна лишь описать пространство борьбы, ставкой которой, среди прочего, является представление о вовлечённых в борьбу силах и их шансах на успех; и это учитывая, что любая «объективная» оценка таких аспектов реальности, которые в реальности не вполне ясны, способна порождать абсолютно реальные эффекты.

Как не заметить, что предвидение может срабатывать не только в намерении его автора, но и в реальности его социального будущего, выступая либо в качестве selffulfilling prophecy [15], перформативного представления, способного произвести собственно политический эффект освящения заведённого порядка (и эффект тем более мощный, чем более признанным будет это представление), либо в качестве заклинания злых духов, способного вызвать действия, опровергающие это предвидение? [16] Наиболее нейтральная наука порождает эффекты, которые вовсе к ней не сводятся. Так, одним только фактом установления и публикации значения, которое принимает вероятностная функция некоторого события, или, как это называет Поппер, силы естественной предрасположенности, с которой событие должно происходить — объективного свойства, присущего природе вещей — можно способствовать усилению «стремления к существованию» (по выражению Лейбница [17]) этого события, заставив агентов к нему подготовиться и ему подчиниться или, наоборот, побудить их мобилизоваться с целью ему противодействовать, тем самым пользуясь знанием вероятности, чтобы затруднить, если не сделать невозможным, его появление.

При этом недостаточно заменить школьную оппозицию между двумя способами понимания социальной дифференциации — как совокупности иерархизированных страт или как совокупности антагонистических классов — решающим для любой революционной стратегии вопросом: образуют ли в данный момент подвластные классы антагонистическую власть, способную определять собственные цели — говоря кратко, мобилизованный класс — или, напротив, они образуют страту, расположенную в самом низу иерархизированного

пространства и определяемую своей удалённостью от доминирующих ценностей? Иными словами, является ли борьба между классами революционной, направленной на низвержение заведённого порядка, или конкурентной борьбой, своеобразной гонкой, когда подвластные стремятся присвоить себе свойства доминирующих?

Ничто так не располагает к отрицанию реальности, то есть к ненаучности, как ответ на этот вопрос, который, основываясь исключительно на практиках и диспозициях агентов текущего момента, не позволяет учесть существование или несуществование агентов или организаций, способных работать на подтверждение или опровержение того или иного видения на основе более или менее реалистичных предвидений в отношении объективных шансов на осуществление той или иной возможности — предвидений и шансов, которые сами подвержены воздействию научного знания о реальности [18].

Наука о социальных механизмах, которые, как механизмы культурной наследственности, связанные с функционированием школьной системы, или, как механизмы символического господства, связанные с унификацией рынка экономических и культурных благ, стремятся обеспечить воспроизводство заведённого порядка, может оказаться на службе у оппортунистского невмешательства, призванного рационализировать (в обоих смыслах [19]) функционирование этих механизмов. Но точно так же она может послужить и основанием для политики, направленной на прямо противоположные цели: разрывая как с волюнтаризмом неведения или безнадёжности, так и с невмешательством, такая политика могла бы вооружаться знанием механизмов, чтобы пытаться их нейтрализовать, а также обнаруживала бы в знании вероятного не повод к фаталистской капитуляции или безответственному утопизму, но основу для опровержения вероятного, укреплённую научным владением законами производства опровергнутой случайности.

## Примечания

1 Статья опубликована в: *Actes de la recherche en sciences sociales*. № 38, 1981. — p. 69–73.

2 ἔποχῃ (греч.) — букв.: задержка, приостановка. — Прим. пер.

3 В оригинале «*extraordinaires*» (экстраординарные), противопоставленные «*ordinaire*» (обыденному, обычному) воспроизводству заведённого порядка. Более точным переводом для «*extraordinaires*» здесь было бы «чрезвычайные», но внутреннее авторское членение слова превращает его морфемы в значимые элементы, а разбиение «чрезвычайные» исказило бы смысл. — Прим. пер.

4 Следует принимать во внимание коннотации действительности в понятии «*langage*», которые присутствуют у Бурдьё. В границах сосюрровской оппозиции языка/речи «*langage*» здесь гораздо ближе к «речи» (как «говорению»), чем к «языку» (как системе знаков). Однако использование Бурдьё другого термина для обозначения речи, «*discours*», и более отчётливое употребление «*language*» в значении «язык» далее по тексту заставляет нас воспользоваться этим вариантом для сквозного перевода. — Прим. пер.

5 Иллокутивная сила (англ.). — Прим. пер.

6 Неоднозначность в передаче на русский язык значений слова «*autorite*» и его производных не исключительна для данного текста и для французского языка в целом. В англоязычной традиции терминологическая пара «*authority/power*» вызывает схожие затруднения. В данном случае следует учитывать, с одной стороны, «ближайшие окрестности», образованные пересечением научного и обыденного значений, с другой, генетическую область значений, представленную в «Словаре индоевропейских институтов» Э. Бенвениста, на который при рассмотрении близких тем П. Бурдьё опирается в ряде других работ (см., в частности, гл. 8 книга 1 «Практического смысла»). Согласно Бенвенисту, «*auctoritas*» — это божественная по происхождению сила, которая «заставляет существовать»: «Всякая речь, произносимая с авторитетом, вносит изменение в мир, нечто создаёт; это волшебное свойство и есть то, что выражает «*augeo*» — власть, которая вытягивает растения из земли, которая даёт жизнь закону» (Benveniste E. *Vocabulaire des institutions indo-européennes*. Paris: Minuit, 1969. Т. 2. — р. 150-151). — Прим. пер.

7 Посредством дефиса Бурдьё подчёркивает «видение», «смотрение» в составе французского «*division*»: «*division*» — это взгляд, основанный на различии, или различие, превратившееся в способ видения. — Прим. пер.

8 Так объясняются любые приговоры «политике», отождествляемой с партийной и фракционной борьбой, которые консерваторы не прекращали выносить на протяжении всей истории от Наполеона III до Петэна (см. Marcel M. *Inventaire des apolitismes en France. // La dépolitisation, mythe ou réalité?* Paris: Armand Colin, 1962. — р. 49-51).

9 Подвластные настолько менее способны к осуществлению символической революции, выступающей условием переприсвоения социальной идентичности, которой их лишает, даже субъективно, принятие доминирующих таксономий, насколько меньшей подрывной силой и критической компетентностью, накопленными в предшествующей борьбе, они располагают, и следовательно, насколько слабее осознание ими позитивных или, более вероятно, негативных черт, которые им свойственны. лишённые экономических и культурных условий для осознания своего лишения и замкнутые в границах знания, доступного [*qu'authorisent*] при их инструментах познания, субпролетарии и пролетаризированные крестьяне нередко вовлекают в дискурс и действия, направленные на подрыв порядка, жертвами которого они являются, принципы деления и логику, лежащие в основании этого порядка (ср. с религиозными войнами).

10 Для этого политического языка, не маркированного политически, характерна риторика беспристрастности, отмеченная эффектами симметрии, уравновешенности, золотой середины и обеспеченная этосом приличий и благопристойности, который удостоверяется отказом от наиболее жёстких форм полемики, скромностью, показным уважением к противнику, говоря кратко, всем тем, что выражает отрицание политической борьбы как борьбы. Эта стратегия (этической) нейтральности естественным образом дополняется риторикой научности.

11 В действительности, борьба между ортодоксией и гетеродоксией, местом которой является поле политики, ослабляет оппозицию между совокупностью политических постулатов (ортодоксальных и гетеродоксных), то есть универсумом всего, что может обозначаться политически в поле политики, и всем, что остаётся за рамками дискуссии (в поле), то есть за рамками сказанного, и что, будучи сведённым к состоянию доксы, допускается без дискуссий и проверок теми же, кто сталкиваются как противники на уровне заявленных политических предпочтений.

12 «Аллодоксия» содержит корень «иной» (греч. αλλού): иной, различный). Речь идёт о доксовых различиях, вариативности различных версий доксы. — Прим. пер.

13 Напряжение, всегда присутствующее в работах марксистских теоретиков — между социологистским сциентизмом и спонтанеистским волюнтаризмом — вытекает, несомненно, из того, что, в зависимости от их позиции в [системе] разделения труда культурного производства, а также в зависимости от способа самопредставления классов, теоретики делают акцент либо на классе как условии, либо на классе как воле. [14] Именно это делает историю (и в частности, историю категорий мышления) одним из условий овладения политическим мышлением самим собой.

14 Самоосуществляющееся пророчество (англ.). — Прим. пер.

15 Как хорошо показал Г. Мердал, ключевые слова экономического лексикона: не только термины, вроде «принцип», «равновесие», «продуктивность», «регулирование», «функция» и так далее, но и сами центральные, неустранимые понятия, вроде «польза», «ценность», «реальные цены» и «субъективные цены», etc, не говоря уже о таких понятиях, как «экономический», «естественный», «беспристрастный» (к этому следовало бы добавить «рациональный»), — всегда одновременно описывают и предписывают (Myrdal G. The political Element in the Development of Economic Theory. — New York, Simon and Schuster, 1964. — p. 10-21).

16 См., например: Лейбниц Г. В. Порядок есть в природе. / Перевод с латинского Я. М. Боровского. // Лейбниц Г. В. Сочинения: в 4 томах. — М., «Мысль», 1982. Том 1. — с. 234-235. — Прим. пер.

17 Всё склоняет к предположению, что эффект теории, который может быть вызван в самой реальности агентами и организациями, способными навязать принцип деления [division] или, если угодно, произвести или символически усилить систематическую естественную предрасположенность, состоящую в том, чтобы отдавать предпочтение одним аспектам реальности и игнорировать другие, настолько мощнее и продолжительнее, насколько явное определение и объективация лучше укоренены в реальности и насколько точнее мыслимые деления соответствуют делениям реальным. Иначе говоря, потенциальная сила, мобилизованная [актом] символического учреждения, значительна настолько, насколько полно классификационные признаки, посредством которых группа явным образом себя характеризует и в которых она себя признает, покрывают признаки, которыми объективно наделены её ключевые агенты (и которые определяют их позицию в распределении инструментов присвоения совокупного социального продукта).

18 То есть в инструментальном (оптимизировать) и в психоаналитическом (придать приемлемую форму). — Прим. пер.

---

Версия #1

Зверобой создал 18 января 2026 04:49:03

Зверобой обновил 18 января 2026 04:52:10